

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодецкатым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мешанки с мужьями — заведомо этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков или два завтрака, но никаких обедов — на выбор. Так как завтрак стоит франк десять сантимов, а обед — полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги,

будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполонившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей, и дома — весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность — пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, выющиеся русые, с рыжеватым отливом, волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков — все в нем напоминало соблазнителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задыхался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон неся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские поля, в Булонский лес — подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание — желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла, и он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» — но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных, поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, — их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на

ты, дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг, — у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе, — решил он. — А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду, — на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз — по выражению лица, по одежде, — сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злость на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах — найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек, во всяком случае, наберется; два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков! «Сволочь!» — проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке, — честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где

ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени Улед-Алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали, — ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже — не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие — с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива, — до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен, — сказал он себе, — и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

— Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

— Да ведь это Форестье! — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

— Не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Превосходно, а ты?

— Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году, — все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

— Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

— Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко — все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека — степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

— Ты куда направляешься? — спросил Форестье.

— Никуда, — ответил Дюруа, — просто гуляю перед сном.

— Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

— Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

— Что подделываешь? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру, — вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

— Не густо, черт возьми, — промычал Форестье.

— Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

— Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего?

— Я обил все пороги, но без толку, — возразил Дюруа. — Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пелерена. Там я на худой конец заработаю три тысячи франков.

— Не делай этой глупости, — прервал его Форестье, — даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты по крайней мере не на виду, тебя никто не знает, и, при известной настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор — это конец. Это все равно что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню. — Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил: — У тебя есть диплом бакалавра?

— Нет, я дважды срезался.

— Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицеро-

не или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

— Да, примерно.

— Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди — круглые невежды и глупы, как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречных. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

— Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами, составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

— Сюда, — сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной, — стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

— Присядь, — сказал Форестье, — я вернусь через пять минут.

И он скрылся за одной из трех дверей, выходящих в приемную.

Странный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорее изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробежали мимо него из одной двери в другую, — так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков — свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил шуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком, — какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями, — видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

— Всего наилучшего, уважаемый мэтр, — сказал Форестье. Господин пожал ему руку.

— До свидания, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

— Кто это? — спросил Дюруа.

— Жак Риваль, — знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он — лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

— Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене, — пояснил он. — Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдём в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» — и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чём-то, потом неожиданно спросил:

— Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд:

— Но... дело в том, что... я никогда ничего не писал.

— Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

— Конечно, хочу.

— Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберётся у меня человек пять-шесть, не больше: мой патрон — господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

— Дело в том, что... у меня нет подходящего костюма, — запинаясь, проговорил он.

Форестье опешил:

— У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

— Отдашь, когда сможешь, — сказал он дружеским, естественным тоном. — Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтен, семнадцать.

Дюруа был тронут.

— Ты так любезен! — пряча деньги, пробормотал он. — Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду...

— Довольно, довольно! — прервал Форестье. — Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! — крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

— Ну как, погуляем еще часок?

— Конечно, погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

— Что бы нам такое придумать? — сказал Форестье. — Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафешантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гуляния. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь — гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал:

— Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер. Я охотно пошел бы туда.

— Что, в Фоли-Бержер? — воскликнул его спутник. — Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь, — это, во всяком случае, забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фиакров дожидалась разъезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

— Мы забыли купить билеты.

— Со мной не платят, — с важным видом проговорил Форестье.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

— Есть хорошая жоа? — спросил он.

— Конечно, есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно стучался вверх, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи партера и где разряженные кокетки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше:

— Где семнадцатая жоа?

— Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико — высокий, среднего роста и низенький — по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грაციозным прыжком он взлетал на трапедию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и, наконец, третий — и все это при возраставшем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

— Обрати внимание на первые ряды партера, — сказал Форестье, — одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах — гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас — самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядишься к ним. Кого-кого тут только нет, — люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие — банковские, министерские, по торговой части, — репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках — эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам, — и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть, — их можно видеть здесь каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими

из-под огромных нарисованных бровей. пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

— Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

— Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр, заиграл вальс.

— Не пройтись ли нам? — предложил Дюруа.

— Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин, — видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

— Пойдем в сад, — сказал он.

Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

— Еще по кружке? — предложил Форестье.

— С удовольствием.

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите,

сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», и, проворчав: «Свинья!», она удалялась.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

— Гарсон, два «гренадина»!

— Однако ты не из робких! — с удивлением заметил Форестье.

— Твой приятель вскружил мне голову, — сказала она. — Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

— Спасибо, котик, — сказала она. — Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся:

— Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

— Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

— Ты остаешься? — спросил Форестье. — А я уйду, с меня довольно.

— Да, я немного побуду. Еще рано, — пробормотал Дюруа.

Форестье встал:

— В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтен, семнадцать, в половине восьмого.

— Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

— Ну что, развязался у тебя язык? — спросила брюнетка.

— Канальство! — пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

— Пойдем ко мне? — неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

— Да, но у меня только один луидор.

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

— Ничего, — сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

II

— Где живет господин Форестье?

— Четвертый этаж, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения. Он находил изъяны во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных, — Дюруа любил хорошую обувь, — и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.